

Марселин Лоридан-Ивенс
при участии
Жюдит Перриньон

А ТЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ

Издательство
Ивана Лимбаха

Марселин Лоридан-ивенс

А ты не вернулся

«Издательство Ивана Лимбаха»

2015

Лоридан-ивенс М.

А ты не вернулся / М. Лоридан-ивенс — «Издательство Ивана Лимбаха», 2015

ISBN 978-5-89-059540-9

29 февраля 1944 года пятнадцатилетняя Марселин Лоридан-Ивенс была арестована вместе со своим отцом во время облавы. Их отправили в концлагерь, но разделили: отец оказался в Освенциме, она – в Биркенау. «Я не вернусь» – фраза отца, обернувшаяся пророчеством. В память Марселин она впечаталась на всю жизнь. Семьдесят лет спустя она пишет ему письмо, в котором рассказывает о своем заключении, освобождении и последующей жизни. Это письмо – попытка представить историю отца и дочери, которую не суждено было прожить. Это мемуары о судьбах, разрушенных Холокостом, о поиске смысла и призвания в послевоенном мире. Книга удостоена премии Жан-Жака Руссо. Книга написана при участии Жюдит Перриньон. Марселин Лоридан-Ивенс (1928–2018) – французская сценаристка, режиссер и писательница. Жюдит Перриньон (р. 1967) – французская журналистка и эссеистка.

ISBN 978-5-89-059540-9

© Лоридан-ивенс М., 2015

© Издательство Ивана Лимбаха, 2015

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

12

Марселин Лоридан-Ивенс при участии Жюдит Перриньон А ты не вернулся

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2015
© В. А. Фридман, перевод, 2024
© Клим Гречка, оформление обложки, 2024
© Издательство Ивана Лимбаха, 2024
Перевод с французского Валерии Фридман

Издано при поддержке Программы содействия издательскому делу Французского института

Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d'aide à la publication de l'Institut français

* * *

Раньше, как ты знаешь, я была веселой, несмотря на случившееся с нами. Веселиться, смеяться вопреки всему – наш с тобой способ бороться с унынием. Людям это нравилось. Но теперь я меняюсь. Это нельзя назвать отчаянием, я не отчаялась. А будто уже перестала существовать. Я слушаю радио, знаю, что происходит, новости меня часто пугают. И среди всего этого я больше не вижу места для себя. Может, потому, что уже смирилась с неминуемой смертью или дело в отсутствии всяких желаний. Но, так или иначе, я сбавляю ход.

И все думаю о тебе. Я вспоминаю записку, которую ты передал мне в лагере: клочок замусоленной бумаги – прямоугольный, с неровными краями, надорванный с одной стороны. Так и вижу твой почерк с наклоном вправо, четыре или пять предложений, которые я позабыла. Абсолютно точно помню лишь первую строку: «Моя дорогая дочурка» и еще последнюю – твою подпись: «Шлоим». И ничего из написанного между ними. Пытаюсь вспомнить, но тщетно. Пытаюсь вспомнить, но в памяти словно образовалась какая-то дыра, и падать в нее я не хочу. Потому переключаюсь на другие вопросы. Где ты взял бумагу и карандаш? Что посулил тому человеку, который передал мне твою весточку? Сегодня это может казаться малозначимым, но тогда сложенный вчетверо листок, твой почерк, путь того человека от тебя ко мне доказывали, что мы все еще существуем. Почему же я забыла те строки? В моей памяти остались только Шлоим и его дорогая дочурка. Нас депортировали вместе. Тебя в Аушвиц, меня в Биркенау.

История легко объединяет их дефисом. Аушвиц-Биркенау. Иногда говорят просто Аушвиц, по названию более крупного лагеря – лагеря смерти Третьего рейха. Время стирает то, что разделяло нас, оно все искажает. Аушвиц стоял вплотную к маленькому городку Биркенау, который располагался в сельской местности. Соседний лагерь можно было увидеть, выходя через огромные ворота на принудительные работы. Мужчины из Аушвица смотрели на нас и думали: именно там сгинули наши жены, сестры, дочери, там, в газовых камерах, предстоит умереть и нам. А я смотрела в твою сторону, задаваясь вопросом: лагерь это или город? Не умер ли ты от газа? Жив ли еще? Между нами тянулись пустыри, колючая проволока, стояли бараки, сторожевые вышки, крематории, и вдобавок ко всему этому висела мучительная неизвестность о судьбах друг друга. Казалось, нас разделяли многие километры. В действительности – от силы три, как сказано в книгах.

Мало кто из узников имел право перемещаться между лагерями. Тот человек был электриком и заменял редкие лампочки в наших темных бараках. И вот он пришел однажды вечером. А может, в воскресенье днем. Во всяком случае, когда он появился, я была в бараке и

услышала свою фамилию. Розенберг! Он вошел и спросил Марселин. «Это я», – ответила я ему. И он протянул мне бумажку: «Вот записка от твоего отца».

Мы располагали несколькими секундами, не более, – короткий контакт, за который могли заплатить жизнью. Написать тебе ответ было нечем: карандаша у меня не имелось, как и бумаги. Вещи перестали составлять часть нашей жизни, они кучами лежали в сараях, где мы работали, но то были вещи мертвых. Нам же, рабам, полагалась лишь ложка, которую мы держали за манжетой, в кармане или за пазухой, да поясок на талии – оторванная от робы полоска ткани или подобранная где-нибудь тонкая веревка – с ее помощью мы подвешивали плоску. И я достала золотую монету, которую украла, сортируя одежду. Я нашла ее зашитой, как сокровище бедняка, за подкладкой, обернула тряпицей и не знала, что с ней делать: ни куда спрятать, ни как обменять на лагерном черном рынке. Я протянула монету электрику, чтобы он передал ее тебе, в его честности я не была уверена, ведь в лагере воровали все, в бараке то тут, то там слышалось «у меня украли хлеб!», поэтому пробормотала на смеси идиша и выученного в лагере немецкого, мол, если он оставит монету себе, пусть отдаст тебе половину ее стоимости. Получил ли ты ее? Этого я так и не узнала. Твою записку я совершенно точно прочла сразу же. Показывать никому не стала, но своим соседкам сказала, что мне написал отец.

Тогда мне не давали покоя другие твои слова. Они перекрывали все. Ты произнес их в Дранси¹, когда мы еще не знали, где окажемся. «Мы едем в Пичипой», – как и все, твердили мы. На идише это слово означает неизвестное направление, звучит ласково – вот дети и повторяли его, провожая поезда. «Они едут в Пичипой», – успокаивали они себя тем, что нашептывали им взрослые. Но я уже не была ребенком. Как говорится, я была большая. В своей комнате в нашем замке я сменила обстановку, перестала витать в облаках, избавилась от игрушек, нарисовала на стене лотарингские кресты, над моим голубым письменным столом появились генералы предыдущей войны Гош, Фош и Жоффри – их портреты оставил на чердаке прежний хозяин дома. Помнишь, в Оранже тебя вызывала в школу директриса? Она нашла мой личный дневник, полный нелестных отзывов и упреков в адрес главного надзирателя и некоторых учителей, но в первую очередь это был дневник истинной голлистской бунтарки. Желая нас защитить, директор отдала тебе мой дневник и сказала: «Лучше бы вам забрать дочь из школы, иначе ей не миновать дисциплинарного совета». Вероятно, ты его прочитал и узнал оттуда, что я была влюблена в одного мальчика. Я повстречала его в автобусе, на котором мы возвращались после школы в Боллен, и каждую неделю я отдавала ему свои талоны на хлеб, а он в ответ делал за меня домашние задания по математике. Он не был еврей. После этого ты два месяца со мной не разговаривал. А потом мы поругались, как отец с пятнадцатилетней дочерью.

Так вот, в Дранси – тебе было хорошо известно, что от меня ничего не ускользало, – я поняла по вашим лицам, напряженным лицам мужчин во дворе, по разносящемуся шепотку, что все предполагали одно и то же: поезда уходят на восток, в те края, откуда вы бежали. Тогда я сказала тебе: «Будем там работать и встречаться по воскресеньям». Твой ответ был таким: «Ты, возможно, и вернешься, ведь ты молода, а я не вернусь». Это пророчество впечаталось в мою голову так же безжалостно, на веки вечные, как и номер 78750 – в мое левое предплечье несколько недель спустя.

Вопреки моему желанию оно стало мне зловецим спутником. Иногда я за него цеплялась, первые слова меня поддерживали, когда одна за другой уходили мои подруги и не только они. Потом я гнала его от себя, ненавидела это «а я не вернусь» – оно приговаривало тебя к худшему, разлучало нас, приносило в жертву твою жизнь в обмен на мою. Я все еще оставалась в живых, а ты?

¹ Дранси (фр. Drancy) – нацистский концентрационный лагерь и транзитный пункт для отправки в лагерь смерти, существовавший в 1941–1944 годах во Франции. Через Дранси прошло 70 тысяч евреев. Здесь и далее примечания переводчика.

Однажды мы увиделись. Нашу группу отправили разбивать булыжники, тягать вагонетки и рыть траншеи вдоль новой дороги к крематорию № 5, мы шли, как всегда, шеренгами по пять человек, возвращались в лагерь, было около шести вечера. Знаешь, тот эпизод принадлежит не только нам. Его пересказывают, описывают в книгах те, кто был в тот момент вместе с нами. Потому что тогда в лагерь, на фабрику смерти, прорвались мечты о встрече с близкими, каждый из наших, кто еще держался на ногах, вздрогнул, когда я увидела тебя, а ты меня, когда мы вышли из своих шеренг и бросились друг к другу. Я упала в твои объятия, приникла к тебе всем существом – ты ошибся в своем пророчестве, ты был жив. По приезде в лагерь тебя могли признать бесполезным: тебе было уже за сорок, из-за серьезной паховой грыжи ты не мог обходиться без бандажа, а на руке, на большом пальце, виднелся длинный шрам – напоминание о полученной на заводе травме, но ты оказался еще достаточно силен, чтобы стать их рабом, как и я. Тебе выпала жизнь, а не смерть, и я была так счастлива тебя увидеть! К нам вернулась способность чувствовать, мы вновь обрели осязание, ощутили родные объятия, это мгновение могло стоить нам дорого, но оно на несколько драгоценных секунд остановило ход безжалостного сценария, написанного для всех нас. Тут меня ударил эсэсовец, обозвал шлюхой: женщинам запрещалось общаться с мужчинами. «Это моя дочь!» – кричал ты и все пытался меня защитить. Шлоим и его дорогая дочурка. Мы оба были живы. Твои слова проигнорировали, возраст не играл здесь роли, лагерные конвоиры не руководствовались логикой, они маниакально следили только за нашей численностью, рано или поздно тут умирали все, отсюда не выходил никто. Я успела лишь сказать тебе номер своего барака: «Я в 27Б».

От побоев я потеряла сознание, а когда очнулась, тебя уже не было, но в моих руках остались помидорина и луковица, которые ты сунул мне тайком – бесспорно, это был твой обед, – и я тут же спрятала их. Невероятно! Помидорина и луковица. Эти два овоща под моей одеждой возвращали все на круги своя: я снова стала ребенком, а ты – отцом, защитником, кормильцем, я увидела в тебе того хозяина трикотажной фабрики в Нанси, того сумасшедшего, который купил для всех нас маленький замок на юге, в Боллене; однажды с таинственным видом ты привез меня туда на двуколке и довольный своим сюрпризом спросил: «Марселин, чего бы тебе хотелось больше всего на свете?»

На следующий день пути наших групп снова пересеклись. Но мы не осмелились пошевелиться. Я вглядывалась в тебя на расстоянии. Это действительно был ты, так близко ко мне, пусть худой – полосатая роба болталась на тебе, – но все тот же волшебник, способный меня удивить. Где ты раздобыл луковицу и помидорину, осчастливившие наши с подругой желудки? Все, что нам полагалось, – горячая ржавая вода по утрам, я оставляла ее немного, чтобы хоть-как-то умыться, суп днем и пайка хлеба вечером, раз в неделю к нему добавляли серый кружок – подобие колбасы, чайную ложку свекольного варенья или кусочек маргарина, который мы умудрялись размазать на два ломтика хлеба. Где ты раздобыл бумагу, чтобы написать мне? Ведь нам даже нечем было подтереться в туалете. Когда я только попала сюда, мне швырнули в лицо грязные мужские трусы, и я отрывала от них понемногу, довольная, что могу использовать их как туалетную бумагу. Как же стыдно!

Не знаю, сколько времени прошло между этими двумя событиями, знаковыми и, увы, последними. Думаю, несколько месяцев. Может, меньше. Ты запомнил номер моего барака, первого в ближайшем к крематорию ряду, и отправил мне весточку. Ты подписался не «папой», а Шлоимом – своим именем на идише, во Франции превратившимся в Соломона. Ты вернулся на родную землю, которая не ожидала, что нацисты станут преследовать евреев, тебе наверняка хотелось подтвердить свою идентичность, свое еврейство в этом мире, где мы стали *Stücke* – номерами. Возможно, ты встретил в лагере родственников, кузенов из Польши, и так, Шлоимом, тебя называли они. Я до сих пор вздрагиваю, стоит мне услышать «папа», даже семьдесят пять лет спустя, даже от незнакомого человека. Это слово так рано ушло из моей жизни, что

всякий раз доставляет мне боль, я могу произносить его только мысленно – вслух не могу. И не могу писать его.

Наверняка в своей записке ты умолял меня жить, держаться. Расхожие слова, всплывающие в голове сами по себе, – только они и остаются здравомыслящим людям, которые не питают иллюзий по поводу завтрашнего дня. Наверняка ты использовал глаголы в повелительном наклонении. Но я вряд ли нашла убедительным написанное тобой. Ведь это не помидорина или луковица. Слова для нас не имели значения. Мы постоянно хотели есть. Вокруг не прекращались массовые убийства. Я не могла вспомнить даже мамино лицо. Вероятно, твоя записка стала для меня слишком большой дозой тепла и любви, я в один миг с жадностью ее прочла, набросилась на нее, как голодный – на еду. И тут же забыла. Начни я много думать об этом – вернулась бы тоска, а она вызывает воспоминания, делает человека уязвимым, слабым и убивает. В обычной, настоящей, жизни мы тожечто-то выбрасываем из головы, что-то оставляем, чему-то позволяем стереться из памяти, полагаемся на ощущения. В лагере наоборот: сначала атрофируется чувство любви и мягкосердечность. Леденеет душа – иначе не выжить. В лагере, как ты прекрасно знаешь, теряют дух, перестают осознавать себя личностью, а будущим считают лишь ближайшие пять минут.

Никогда я не просила тебя прийти на помощь. А когда думала о тебе, то представляла, как ты идешь с моим младшим четырехлетним братом, тогда из моей памяти стерлось его имя – Мишель. До нашего ареста он постоянно ходил за тобой по пятам: куда бы ты ни шел, он был либо у тебя на руках, либо шагал рядом, держась за твою руку, словно боялся тебя потерять. Возможно, в образ малыша я вкладывала частицу себя. И так получала поддержку. Я была твоей дорогой дочуркой. Кажется, что мне до сих пор пятнадцать лет. Ощущение возраста мной потеряно. У меня было так мало времени напиться тобой про запас.

Из барака я видела, как по дороге к газовым камерам шли дети. Помню одну девочку с потерянными взглядом, вцепившуюся в свою куклу. Наверное, в последние месяцы она сполна познала травлю и страх. А теперь ее разлучили с родителями и скоро разденут. Она походила на свою безвольную куклу. Я смотрела на нее. Знала, сколько смятения и ужаса сейчас в голове этой маленькой девочки, знала, как сильно она сжимает свою куклу, ведь совсем недавно, несколько лет назад, я и сама приехала с чемоданом, в котором лежали пупс и шкапулка для мелочей.

Наверняка в своей записке ты говорил мне, что ты все еще здесь, совсем рядом. Обещал, что война скоро закончится и нас освободят. Когда было составлено это письмо? Летом 1944-го? Или чуть позже? Мы знали о высадках союзников и о битвах. Вести поступали с каждой новой партией узников. Всякий разкто-нибудь из нас пытался пробраться в лагерь А. и оказаться среди вновь прибывших, которые находились на карантине в ожидании своей участи: газовой камеры или принудительных работ. Мы искали там знакомые лица. И всегда возвращались оттуда с информацией. Так мы узнали, что Париж освобожден, что дивизия генерала Леклерка прошла парадом по Елисейским Полям, и на следующий день, минуя оркестр, игравший военные марши и другие знакомые мелодии по утрам и вечерам, когда узники возвращались с работ, мы тихонько спели «Марсельезу». Но эта новость была для нас не более чем отдельным эпизодом из той жизни, которой мы больше не принадлежали. Нам по-прежнему грозил газ. Мы находились на самом краю пропасти. Мы жили только настоящим, ближайшими минутами. Питать надежду было нечем. Она умерла.

Стали привозить венгров. Сотнями тысяч, от восьми до десяти составов в день, ты же помнишь тот поток людей: казалось, в лагерь стекались целые города. Росло количество депортированных – росла и скорость их уничтожения. Их раздевали, отправляли в газовые камеры – первым делом, как обычно, детей и стариков. А тех, кому приходилось ждать своей очереди на смерть несколько дней, размещали в только что построенной зоне, в начале новой части лагеря рядом с крематорием. Это была так называемая «Мексика». Мы проходили мимо нее

каждый день по дороге на работу. Наш путь лежал в «Канаду» – так польки называли пункт сортировки одежды, место самого легкого труда, где работать мечтали все, ведь там можно было найти корочку хлеба в каком-нибудь кармане или золотую монету за подкладкой. Француженки, кстати, называли бы это место «Перу». Вот такая странная польскоязычная карта мира в миниатюре была в лагере. Уж не знаю почему, но «Мексика» означала скорую смерть.

Когда мы проходили мимо, некоторые узницы «Мексики» приближались к колючей проволоке под электрическим напряжением и шепотом задавали нам вопросы о том, что их ждет, у них уже отобрали детей, но им все еще хотелось нечто-то надеяться. Мы спрашивали: «У вас есть номер?» Они отвечали, что нет. И тогда мы с сожалением разводили руками. Порядковый номер на предплечье был нашей удачей, нашей победой и нашим стыдом. Я участвовала в строительстве второй разгрузочной рампы крематория, на которую только что отправили их детей. А теперь мне предстояло сортировать их вещи.

Смерть изрыгала такое количество одежды, что меня направили дополнительной работницей в «Канаду». Мы перебирали юбки, нижнее белье, брюки, рубашки, обувь тех, кто «вылетел в трубу». Запах их сожженной плоти стоял над лагерем и с утра до ночи заполнял наши ноздри, кости, мысли, предвещая нам ту же участь. Через наши руки проходили в основном фибровые чемоданы с плохонькими нарядами и изношенной обувью. А говорили, мол, евреи – богачи! Наиболее ветхую одежду донашивали мы, а самая красивая – отправлялась в Германию. Мы ходили в обносках наших мертвецов, с красным крестом на спине, какой был и у тебя. Я носила кофту одной покойницы, юбку – другой, башмаки – третьей. Это в настоящей жизни личные вещи и предметы одежды могут вамкого-то напоминать. А там, в лагере, их было так много, что они теряли всякую связь с прежними хозяевами, нацисты наваливали горы из этих вещей и разъезжали по ним на велосипедах с плетью в руке и собакой, что с лаем бежала впереди.

Я же мечтала о полосатом платье, как у ариек, оно обладало рядом достоинств: шилось из цельного отреза ткани, закрывало все тело, никто за пределами лагеря его не носил – в конце концов я находила в нем нечто, напоминающее униформу, привыкая к которой вы понимаете, где находитесь и кто вы есть, но которую однажды, возможно, вам посчастливится снять.

И я воровала. Один раз кофту. Другой – ложку для подруги. Потом найденную за подкладкой монету, не догадываясь, что она будет для тебя. Помню, не знала, куда ее положить, ведь у меня не было карманов. Ее могли обнаружить, и я очень рисковала. Кому доверять? Большинство дежурных, назначенных из депортированных, были арийки. Они или донесли бы на меня, или обчистили. В лагере процветал антисемитизм, нас беспрестанно гнобили польки и украинки, но больше всего немки, попавшие сюда за криминальные преступления. Я понимала, что долго хранить монету не смогу: раз в месяц мы сдавали всю свою одежду на пропарку для профилактики педикулеза и тифа. Взамен нам выдавали другую, тоже принадлежавшую погибшим. Она вечно не соответствовала моему размеру, оказывалась слишком широкой или слишком длинной для меня, так было с самого начала, когда по прибытии мне выдали одежду, которую я вовек не смогу забыть: это была юбка, что доходила мне до пят, коротенькая кофта и мужские трусы в пятнах, провонявшие дезинфицирующим средством, огромные туфли на плоской подошве, другие – на каблуке и тоже большие. Я и сейчас ношу обувь 33-го размера, не особо я выросла с нашей последней встречи.

Твое письмо я получила, кажется, когда меня перераспределили на картошку. С «Канардой» нам пришлось распрощаться: некоторых поймали с поличным при воровстве и приговорили к газовой камере, остальных в наказание отправили разгружать вагоны с картошкой. Выстраиваясь караваном, мы перетаскивали ее на склад в трагах² – в огромных деревянных ящиках с ручками. Вдоль нашего пути стояли нацисты и следили, чтобы мы не украли ни еди-

² От нем. tragen – носить; здесь: переноска.

ной картофелины. И однажды вот что случилось. Маленькая девочка. Мы вместе несли груженую трагу: она держала ее спереди, а я сзади. Эту девочку, совершенно обессиленную, трясло, двигаться дальше она не могла, а шедший за нами эсэсовец подгонял меня ударами по шее, я же не ускорялась из-за малышки, которая была не в состоянии передвигать ноги, я предложила поменяться с ней местами, но он ударил меня сильнее, назвал грязной еврейкой, ударил снова, я подалась вперед, ящиком толкнув девочку в спину, каждый удар по шее заставлял меня причинять боль ей, в результате она упала, не смогла подняться, и фашист добил ее прикладом. Я называю ее маленькой, хотя она была не младше меня, да и ростом не ниже, но такая худенькая, гораздо тоньше меня, оттого в моей памяти она осталась ребенком, думаю, она была гречанкой, и ее убила я.

Потом нас отправили рыть траншеи. Копали мы мотыгами. Долгое время я рассказывала, что это было рядом с кухнями, полвека я пряталась за этой ложью от других и от себя самой. В моих воспоминаниях навела порядок моя подруга Фрида. На мое «это было рядом с кухнями» она ответила: «Да нет же, ты приукрашиваешь действительность, это происходило в непосредственной близости к газовым камерам». Она была права. Крематории работали на полную мощность, они были забиты под завязку, отчего из труб выходил не дым, а пламя, огненные столпы стали ориентирами для самолетов союзнических войск, которые тогда начинали бомбить близлежащие оружейные заводы. И немцы изменили свой метод. Тела отравленных газом сбрасывали в траншеи, что копала я, обливали бензином и превращали в золу, запуская по ним волну огня: такой огонь не поднимался выше земли и оставался невидимым врагу.

Вслед за венграми в лагерь привезли евреев из Лодзинского гетто. Я видела, как они шли от платформы к газовым камерам. Тогда я подумала, что среди них, возможно, находились мои дяди, тети, двоюродные братья и сестры, мои дедушки и бабушки, которых я не знала. Ты был родом из Лодзи. Но я продолжала. Я долбила землю, не глядя по сторонам, не вспоминая о прошлом, не думая о будущем, измотанная голодом и жаждой, я рыла траншеи, в которых сгорят тела пятидесяти моих дальних родственников из Лодзи, я жила настоящим, от одного удара мотыги до другого, от одной до другой сортировки Менгеле, лагерного дьявола, что заставлял нас раздеваться и решал, когда именно нам отправляться в газовую камеру.

Когда взбунтовались зондеркоманды, никто из нас никак не отреагировал. Евреи, работавшие на оружейном заводе, снабдили их порохом, однако внутреннее, нееврейское, движение сопротивления отказалось передать им оружие, и тогда они взорвали крематорий, свой позор, ведь каждый день они собирали тела отравленных газом заключенных и бросали их в огонь. Они перерезали колючую проволоку и бежали в лес, они и нас звали с собой, уговаривали последовать их примеру, а мы бессильно смотрели на них, не в состоянии сдвинуться с места. Казалось, мы разучились воспринимать добрые вести, было слишком поздно. Впрочем, беглецов схватили и ликвидировали.

Твое письмо тоже пришло слишком поздно. Вероятно, оно было о надежде и любви, но во мне не оставалось больше ничего человеческого: я убила маленькую девочку, я рыла землю рядом с газовыми камерами, каждое мое действие шло вразрез с твоими словами, хоронило их. Я служила смерти. Я была ее трагедией. Потом ее мотыгой. Твои слова ускользнули, стерлись из памяти, хотя наверняка я прочла их несколько раз. В них говорилось о мире, который перестал быть моим. Я утратила всякие нравственные ориентиры. И если бы воспоминания не стерлись, я не смогла бы жить.

Мама не приехала в Париж меня встречать. Никто там меня не ждал. Я попросила соединить меня с особняком по адресу, который помню до сих пор, – Боллен, дом 58. Мама ответила после нескольких гудков. Ей сказали, что я вернулась, и передали трубку мне. Первым делом я спросила, дома ли ты. Она не ответила, лишь произнесла: «Приезжай». По ее нетвердому

голосу я поняла, что ты не вернулся, и поэтому сказала, мол, не хочу ехать домой. Не помню, как она отреагировала на мои слова. Это было неважно. Я хотела увидаться с тобой. И я была готова остаться здесь, в «Лютеции» – старинной роскошной гостинице на бульваре Распай, где немцы устроили штаб-квартиру абвера, а после освобождения Парижа в ней открылся центр по приему депортированных, своего рода шлюз. Мы спали в комнатах по два-три человека, прямо на полу, у изножья пустых кроватей, застеленных белыми простынями, – не могли лежать на мягких матрасах. И думали только о еде. Наши спины были все еще там, на деревянных нарах, а животы – здесь, каждого словно разделило на две противоречащие друг другу половины. Вот такие странности происходили с нами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.